



М. ГОРЬКИЙ

Литературные заметки

По поводу нового рассказа А. П. Чехова «В овраге»

«...Жизнь долгая, — будет еще и хорошего, и дурного, всего будет. Велика матушка Россия! Я во всей России был и все в ней видел, и ты моему слову верь, милая. Будет и хорошее, будет и дурное...»

Это говорит один из героев нового рассказа Чехова «В овраге», — это говорит Чехов, сострадательно и бодро улыбаясь читателю. Я не стану излагать содержание его рассказа — это одно из тех его произведений, в которых содержания гораздо больше, чем слов. Чехов как стилист, единственный из художников нашего времени в высокой степени усвоивший искусство писать так, «чтобы словам было тесно, мыслям — просторно». И если бы я начал последовательно излагать содержание его рассказа, то мое изложение было бы больше по размерам, чем самый рассказ. Это может показаться смешным. Что ж? Правда очень часто кажется смешной. Передавать содержание рассказов Чехова еще и потому нельзя, что все они, как дорогие и тонкие кружева, требуют осторожного обращения с собою и не выносят прикосновения грубых рук, которые могут только смять их...

В новом рассказе Чехова героями являются: деревенский лавочник, грабитель и мошенник; его сын, агент сыскной полиции; другой сын, глухой и глупый; жена лавочника, добрая баба; его снохи — одна хорошая, другая дурная; старый плотник Костыль, человек мудрый и милый, как малое дитя.

— Кто трудится, кто терпит, тот и старше... — наивно говорит этот плотник.

Все эти люди, хорошие и дурные, живут в рассказе Чехова именно так, как они живут в действительности. В рассказах Чехова нет ничего такого, чего не было бы в действительности.

Страшная сила его таланта именно в том, что он *никогда ничего не выдумывает от себя*, не изображает того, «чего нет на свете», но что быть может и хорошо, может быть и желательно. Он никогда не прикрашивает людей, и те, кто его не любят, — такие, впрочем, совсем уже вымирают, — не любят его именно за это, хотя и объясняют свою неприязнь иначе. Они, в сущности, просто чувствуют себя обиженными, когда видят свое отражение в этом удивительном огромном зеркале — сердце автора. Им становится стыдно за себя, и они немножко злятся. Это можно простить им — всякий современный человек нуждается в подрисовке не меньше любой старой кокетки. Он ведь страшно много прожил сердца на обожание профессора Серебрякова, в книгах которого, как дядя Ваня, двадцать пять лет видел руководство к жизни, а жизнь проморгал. Чехов очень много написал маленьких комедий о людях, проглядевших жизнь, и этим нажил себе множество неприятелей.

Еще со времен «Скучной истории» начали говорить о Чехове: «Да, конечно, это талант крупный, но...» и, подражая Сент-Беву¹, старались превратить похвалу в гнездо ос. А Чехов слушал — впрочем, вероятнее, не слушал — и писал. В самом начале трудной литературной карьеры Чехова один из наших критиков, наиболее бездарный и тем отличающийся от других, менее бездарных, пророчил о нем как о человеке, который сохнет и умрет под забором². Критик этот жив до сего дня и... я не хотел бы быть на его месте, если он не забывает того, что пишет. Критик этот умрет, и тогда о нем вспомнят, немножко попишут о нем и снова забудут его. А когда умрет Чехов — умрет один из лучших друзей России, друг умный, беспристрастный, правдивый, — друг, любящий ее, сострадающий ей во всем, и Россия вся дрогнет от горя и долго не забудет его, долго будет учиться понимать жизнь по его писаниям, освещенным грустной улыбкой любящего сердца, по его рассказам, пропитанным глубоким знанием жизни, мудрым беспристрастием и состраданием к людям, не жалостью, а состраданием умного и чуткого человека, который все понимает.

Человек, который все понимает, очень несчастный человек, у него непременно должна быть та болезненная трещина в сердце, о которой говорит Гейне. Он, этот человек, видит перед собою жизнь такой, какова она есть — отдельные жизни, как нити, а все вместе — как огромный, страшно спутанный клубок. Этот клубок болтается где-то в пространстве и весь трепещет от силы противоположных стремлений и страстей. Одну и ту же нитку тянет в разные стороны.

Жена лавочника Цыбукина говорит своему сыну, сыщику:

— Живем мы хорошо, всего у нас много... только вот скучно у нас. Уж очень народ обижаем. Сердце мое болит, дружок, обижаем как — и боже мой!

Ей не хочется обижать народ, но порядок жизни таков, что надо обижать.

А сын ее, сыщик, отправляясь подделывать рубли и полтинники, говорит:

— Теперь так говорят, что будто конец света пришел оттого, что народ ослабел, родителей не почитают и прочее. Это пустяки. Я так, мамаша, понимаю, что все горе оттого, что совести мало в людях...

Его давно уже тяготят мучения совести, но он все-таки делает фальшивые рубли. Это очень правдиво, это удивительно верно взято Чеховым. Ведь, милостивые государи, как подумаешь хорошенько — все мы фальшивомонетчики! Не подделываем ли мы слово — серебро, влагая в него искусственно подогретые чувства? Вот, например, искренность — она почти всегда фальшивая у нас. И всякий знает, сколько он лжет даже тогда, когда говорит о правде, о необходимости любви к ближнему, уважения к человеку. И постоянно каждого из нас, как Анисима Цыбукина, тянет в противоположные стороны, к заботам о воплощении в жизнь истины и справедливости и к езде верхом на шее ближнего. Всего более и всего чаще в человеке борются два взаимно друг друга отрицающие стремления: стремление быть лучше и стремление лучше жить. Объединить эти два позыва в стройное одно — невозможно при существующей путанице жизни.

Чехов понимает этот разрыв в человеке как никто и как никто умеет в простой и ослепительно ясной форме рисовать трагикомедии на этой почве. Он не говорит нового, но то, что он говорит, выходит у него потрясающе убедительно и просто, до ужаса просто и ясно, неопровержимо верно. И потом, речь его всегда облечена в удивительно красивую и тоже до наивности простую форму, и эта форма еще усиливает значение речи. Как стилист Чехов недосыгаем, и будущий историк литературы, говоря о росте русского языка, скажет, что язык этот создали Пушкин, Тургенев и Чехов. Его упрекали в отсутствии миросозерцания. Нелепый упрек! Миросозерцание в широком смысле слова есть нечто необходимо свойственное человеку, потому что оно есть личное представление человека о мире и о своей роли в нем.

В этом смысле оно свойственно даже таракану, что и подтверждается тем, что большинство из нас обладает именно тараканьим мирозерцанием, т. е. сидит всю жизнь в теплом месте, шевелит усами, ест хлеб и расплождает таракашков.

У Чехова есть нечто большее, чем мирозерцание — он овладел своим представлением жизни и таким образом стал выше ее. Он освещает ее скуку, ее нелепости, ее стремления, весь ее хаос с высшей точки зрения. И хотя эта точка зрения неуловима, не поддается определению — быть может потому, что высока, — но она всегда чувствовалась в его рассказах и все ярче пробивается в них. Все чаще слышится в его рассказах грустный, но тяжелый и меткий упрек людям за их неумение жить, все красивее светит в них сострадание к людям и — это главное! — звучит что-то простое, сильное, примиряющее всех и вся. Его скорбь о людях очеловечивает и сыщика, и грабителя-лавочника, всех, кого она коснется. «Понять — значит простить», — это давно сказано, и это сказано верно. Чехов понимает и говорит — простите! И еще говорит — помогите! Помогите жить людям, помогайте друг другу!..

«— Откуда мне знать, есть Бог или нет? — говорит сыщик Цыбукин своей матери. — Нас с малолетства не тому учили, и младенец еще мать сосет, а его только одному и учат: кто к чему приставлен! Папаша ведь тоже в Бога не верует... И старшина тоже не верует в Бога, и писарь тоже, и дьячок тоже. А ежели они ходят в церковь и посты соблюдают, так это для того, чтобы люди про них худо не говорили, и на тот случай, что, может, и в самом деле Страшный суд будет...»

Бросьте камнем осуждения в этого сыщика, если можете! Разумеется, у вас не поднимется рука на Цыбукина, ибо и вы тоже ведь заглядываете в храмы ваших святынь лишь для того, чтобы «люди про вас худо не думали». Не сами ли вы называете святыни ваши «забытыми словами». А так как вам много дано — с вас нужно спросить не только больше, но и раньше, чем с человека без почвы, без веры в себя, в людей и в Бога. Человек болеет душой, но идет делать фальшивые деньги, заглушая тревогу совести ссылкой на другие, которые «тоже...». Разумеется, дрянь-человек! Но как он может быть лучше? И куда его, если он будет лучше? В той обстановке, в которой он живет, лучшие должны погибнуть. И остается сыщику Цыбукину сказать вам, судьям своим, словами плотника Костыля:

— Мы на этом свете жулики, а вы на том свете будете жулики.

Осветить *так* жизненное явление — это значит приложить к нему меру высшей справедливости. Чехову это доступно, и за этот глубоко человеческий объективизм его называли бездушным и холодным. Говорилось даже, что ему все равно, о чем ни писать — о цветах, о трупах, о детях, о лягушках, у него все выходит одинаково хорошо и холодно³. Вообще, едва ли был и есть писатель, к которому в начале деятельности относились бы так несправедливо, как к Чехову.

Но дело не в этом.

Дело в том, что каждый новый рассказ Чехова все усиливает одну глубоко ценную и нужную для нас ноту — ноту бодрости и любви к жизни.

— Жизнь долгая — будет еще и хорошего, и дурного, всего будет! Велика матушка Россия!...

В новом рассказе, трагическом, мрачном до ужаса, эта нота звучит сильнее, чем раньше, и будит в душе радость и за нас и за него, трубадура «хмурой» действительности, грустного певца о горе, страданиях «нудных» людей.

Глядя на жизнь и наше горе, Чехов, сначала смущенный неурядицей и хаосом нашего бытия, стонал и вздыхал с нами, ныне, поднявшись выше, овладев своими впечатлениями, он, как огромный рефлектор, собрал в себя все лучи ее, все краски, взвесил все дурное и хорошее в сердце своем и говорит:

— Жизнь долгая, — будет еще и хорошего, и дурного, всего будет! Велика матушка Россия! Я во всей России был и все в ней видел, и ты слову моему верь, милая. Будет и хорошее, будет и дурное. Я ходоком в Сибирь ходил, и на Амуре был, и на Алтае, и в Сибирь переселился, землю там пахал, соскучился потом по матушке России и назад вернулся в родную деревню. Назад в Россию пешком шли; и помню, плывем мы на пароме, а я худой-худой, рваный весь, босой, озяб, сосу корку, а проезжий господин тут какой-то на пароме, — если помер, то царство ему небесное, — глядит на меня жалостно, слезы текут. «Эх, говорит, хлеб твой черный, дни твои черные...» А домой приехал, как говорится, ни кола, ни двора: баба была, да в Сибири осталась, закопали. Так, в батраках живу. Вот и помирать не хочется, милая, еще бы годочков двадцать пожил; значит, хорошего было больше. А велика матушка Россия!...

И огромные рождаются в ней таланты, прекрасные, глубокие сердца в ней есть! Будем верить, что хорошего не только было больше, но и *будет* больше.

